

Хроники забвения

Эдуард Сероусов



Эдуард Сероусов
Хроники забвения

«Автор»

2026

Сероусов Э.

Хроники забвения / Э. Сероусов — «Автор», 2026

Двести лет после катастрофы человечество живёт под куполами, дыша по счёту. У археолога Даниила Вольфа четырнадцать месяцев ресурса, дочь с угасающей памятью и одна тонкая полоса золы в шурфе, за которой мир вдруг обрывается. На минус сорок первом метре его кисть ложится на тёплую стену, которой не должно быть, а за стеной ждёт тот, кто помнит двенадцать концов света. Между заряженной иглой в глубине земли и приближающейся волной, стирающей имена, десятилетняя девочка со списком правил на руке ставит взрослым единственный правильный вопрос. Прямой. Тот, который меняет цикл.

© Сероусов Э., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Часть первая. Нижний слой	5
Часть вторая. Ключ и замок	11
Конец ознакомительного фрагмента.	15

Эдуард Сероусов

Хроники забвения

Часть первая. Нижний слой

По утрам его дочь знакомилась с собой.

Ритуал был всегда одинаковый. Жёлтая коробка рекордера на подушке — старая, полевая, с трещиной поперёк динамика, из-за которой все голоса в ней шепелявили. Палец на клавише. Шипение плёнки, похожее на дыхание. И голос Ады — вчерашней Ады, уверенной, деловой, — диктующий Аде сегодняшней, кто она такая.

— Меня зовут Ада Вольф, — говорила коробка. — Мне десять лет и восемь месяцев. Я живу в куполе «Новый Эдем», ярус три, отсек одиннадцать. Моего папу зовут Даниил, он археолог, он копает под куполом и приносит оттуда вещи старого мира. Вчера мы ели суп из настоящего гороха. Горох вырастил ярус два, он хвастается. Не верь Симке с яруса два, что она дала мне горох, — это я ей дала перо. Перо лежит в банке. Помни про перо.

Даниил Вольф стоял в дверном проёме с двумя кружками цикорного отвара и не входил. В ритуал не входят. Это было первое правило, которое Ада установила сама, ещё два года назад, когда правил стало нужно много: пока плёнка говорит, никто не заходит, ничего не спрашивает, не сбивает. Утро принадлежало ей и коробке.

За переборкой ровно, как всегда, гудели рециркуляторы третьего яруса — купол дышал. Воздух пах регенератором и чуть-чуть горохом, вчерашним. На левой руке Ады, от запястья до локтя, шли чернильные строчки — имена, даты, стрелки. Симка. Перо. Вт: медблок. Почерк был круглый и упрямый.

— ...ещё помни, — сказала вчерашняя Ада, и плёнка чуть просела, будто голос наклонился ближе, — спроси папу про маму. Про Мару. Пока помнишь тёплое — спроси.

Щелчок. Плёнка кончилась.

Ада подняла голову. Посмотрела на него поверх коробки — спокойно, вопросительно, как смотрят на расписание.

— Пап. А кто такая Мара?

Пол под ним не качнулся. Пол в куполе не качается никогда, купол стоит на скальном основании, он сам его датировал. Просто кружки вдруг стали тяжёлыми, и пришлось поставить их на полку, аккуратно, доньшком в старые круги от таких же кружек.

Вчера тёплое ещё было. Вчера она велела себе спросить — значит, вчера от Мары ещё оставалась нитка, край, хоть что-то, за что можно было велеть. Сегодня она произносила имя матери так, как произносят слово из кроссворда.

— Мара, — сказал он. Голос сработал ровно. Годы практики. — Сейчас покажу.

Кассеты стояли на верхней полке, в жестяной коробке из-под фильтров, каждая подписана его почерком — датировки, как на находках. Он выбрал ту, где на боку было только «М.», вставил в коробку вместо утренней плёнки, нажал клавишу большим пальцем — и палец сам, по привычке, прошёлся по крышке, стирая пыль, которой там не было.

Шипение. Потом женский голос, молодой, смеющийся, чуть в нос:

— ...да куда ты её тянешь, дай сюда. Так. Ада. Адочка. Смотри на меня. Скажи: па-па. Па-па. Ну?

Младенческий писк, возня, чьё-то далёкое «она ест микрофон», снова смех.

— Па-па, — терпеливо повторял голос. — Ладно. Скажи: ма-ма.

Пауза. И тонкое, победное, на весь динамик: «А-ба!»

— Гениальный ребёнок, — сказал голос Мары, и было слышно, что она улыбается. — Записываю в протокол: первое слово — «аба». Значение неизвестно. Науке предстоит...

Щелчок. Дальше он никогда не дослушивал.

Ада сидела очень прямо. Она прослушала кассету ещё раз, от начала до конца, с тем сосредоточенным лицом, с каким разбирала схемы Бекеле. Потом взяла ручку и вывела на предплечье, под строчкой про перо, крупно:

МАРА — МАМА. ГОЛОС НА ЖЁЛТОЙ ПЛЁНКЕ.

— У меня было мыло, — сказала она. Не ему — руке. — Большое.

Мылом она называла это сама, давно, и слово прижилось, потому что лучшего не нашлось ни у него, ни у Сано: когда вчерашний день намыливается и выскальзывает, и чем крепче сжимаешь, тем быстрее. Врачи говорили «нарушение консолидации». Ада говорила «мыло». Ада была точнее.

— Большое, — согласился он и наконец внёс кружки.

Отвар остыл до питьевого. Она пила и смотрела на него поверх кружки, и в глазах у неё было то взрослое, что появилось в последний год и от чего у него холодело под рёбрами.

— Пап. А если я и тебя когда-нибудь... намылю. — Она сказала это легко, как про погоду, которой в куполе не было. — Ты будешь приходить знакомиться? Каждый день?

— Каждый день, — сказал он.

— Это будет даже интересно, — решила она. — Каждый день новый папа. Только ты представляйся смешно. Не как в медблоке.

— Договорились.

Он забрал пустую кружку, поцеловал её в пробор и вышел на смену. Уже в коридоре, сквозь переборку, он услышал щелчок клавиши и её голос — ровный, деловитый, наговаривающий плёнку для завтрашней себя:

— Сегодня я узнала, что у меня была мама. Её звали Мара. Она смеялась в нос...

Он стоял в коридоре, пока плёнка не кончилась. Потом пошёл выбивать из совета энергию.

— ...купол делает четыреста двадцать вдохов в минуту на секцию, — говорил Элиас Марш, когда Вольф вошёл в зал совета. — Четыреста двадцать. Я пересчитываю их каждое утро, доктор Кёниг, потому что больше их пересчитывать некому.

Зал совета был бывшей теплицей: стеклянный свод, по которому ползли капли конденсата, длинный стол из шести дверей, положенных на козлы, и тридцать стульев, из которых заняты были одиннадцать. Дышала здесь, казалось, сама теснота.

— Я не оспариваю вашу арифметику, старейшина, — сказала Ирма Кёниг. Она сидела, по обыкновению, боком к столу, в митенках, перепачканных чернилами, и с двумя парами очков на двух шнурках — одни для мира, одни для букв. — Я оспариваю вашу поэзию. «Пересчитывать некому» — это фигура речи. Нас тут одиннадцать.

— Десять, — сказал Марш. — Вольф опоздал.

— Вольф копал, — сказал Вольф и сел.

Марш посмотрел на него через стол. Старейшине шёл восьмой десяток, и он весь был как его купол: большой, лысый, латаный, с идеально пригнанными швами. На цепочке от нагрудного кармана висел латунный вентиль — маленький, стёртый до блеска, не отсюда. Марш перекатывал его в пальцах, когда считал.

— Хорошо, что копал, — сказал он. — Плохо, что жёг. Раскоп берёт восемь процентов энергосети. С завтрашнего дня — четыре.

— С четырьмя я не удержу тепловой контур на минус сорока.

— Значит, не удержите. — Марш положил вентиль на стол, доньшком вниз, точным движением человека, который всю жизнь что-то завинчивал. — У купола четырнадцать месяцев ресурса, Вольф. Четырнадцать. Фильтры второго контура сыплются, гидропоника ест энергию, как не в себя, а вы на глубине сорока метров греете скалу. Ради чего? Ради черепков?

— Ради склада.

Слово легло на стол рядом с вентилем. Вольф дал ему полежать.

— На Горизонте-шесть аномалия, — сказал он. — Слой позднего дриаса, датировка чистая — зола, кость, пыльцевой спектр. И в этом слое — сплав. Не окисленный. Регулярная структура, протяжённость по сейсмике — десятки метров. Старый мир так глубоко не строил. Значит, строил кто-то до старого мира, и строил на совесть. Такие вещи не бывают пустыми, старейшина. Не бывает пустых слоёв. Бывают археологи, которые плохо смотрели.

— Красиво, — сказал Марш без выражения. — Что внутри?

— Не знаю. Поэтому и копаю.

— Он хочет сказать, — Ирма сменила очки, что означало у неё переход к делу, — что вероятность технического объекта высока. А любой технический объект того горизонта — это материалы, которых мы не умеем делать, и энергия, которой у нас нет. Ваши четырнадцать месяцев, старейшина, могут лежать на минус сорока первом метре.

— Или там лежит камень, — сказал Марш. — Красивый древний камень, на который мы потратим воздух моих людей.

Он взял вентиль, повесил обратно на цепочку. Встал, прошёл вдоль стола к переборке — и Вольф увидел то, что видел уже сотню раз и на что каждый раз что-то в нём отзывалось: старейшина мимоходом, не глядя, приложил ладонь к стыку двери, проверяя, не сифонит ли. Жест был старше «Нового Эдема». Жест был из другого купола.

— Две недели, — сказал Марш, не оборачиваясь. — Полная квота. Принесёте мне склад — будем говорить дальше. Принесёте камень — закопаете сами и своими руками поставите заглушку на шахту. Голосуем.

Проголосовали быстро. В коридоре, где конденсат капал с труб в подставленные банки, Ирма догнала его и взяла под локоть.

— Ты ему соврал, мальчик мой, — сказала она почти ласково. — «Склад». Ты понятия не имеешь, что там.

— Я ему датировал, — сказал Вольф. — Остальное он датировал себе сам.

— А себе? — Ирма остановилась, и ему пришлось остановиться тоже. Поверх «очков для мира» она смотрела снизу вверх, но так, что казалось — сверху вниз. — Себе ты что датировал? Только не говори мне про науку. Наука не встаёт в четыре и не жжёт личную квоту на прогрев клетки.

Он мог бы не отвечать. Ей — мог бы.

— Сано говорит, у Ады месяцы, — сказал он. — Старый мир умел чинить память. Где-то это лежит, Ирма. Всё, что человек когда-либо умел и любил, лежит где-то в земле. Моя работа — вернуть это на свет.

Ирма долго молчала. Капля сорвалась с трубы и звякнула о банку.

— Копай, — сказала она наконец. — Но когда найдёшь — сначала дай прочесть мне. Обещай. Сначала читают, потом трогают.

— Обещаю, — сказал он.

Это было первое обещание, которое он ей дал. Он сдержал его почти полностью.

Медблок занимал бывший шлюзовой отсек, и потому потолок здесь был круглый, как внутренность яйца. Ада лежала под диагностической рамкой, свет рамки шёл по ней медлен-

ной белой полосой, от макушки к пяткам и обратно, и она делала вид, что это её загорает солнце, которого она никогда не видела.

Вольф ждал в кабинете. Стены кабинета доктор Сано отдала детям: рисунки висели в четыре слоя, старые под новыми. Рисунки Ады он узнавал без подписи — но подпись была на каждом. Ада подписывала всё. «КУПОЛ СНАРУЖИ (Я НЕ ВИДЕЛА, НО ТАК)». «БЕКЕЛЕ ЧИНИТ ВОЗДУХ». «ГОРОХ (ГЕРОЙ)». Это была её война: пришить мир словами, чтобы не уплыл.

Один рисунок был старый, из-под низа выглядывал угол. Три фигуры, взявшиеся за руки. Под первой — «Я». Под второй — «ПАПА». Под третьей, высокой, с волосами в косу, стояло: «?»

Знак вопроса был обведён много раз, до дыры в бумаге.

— Кривая консолидации. — Сано вошла, села, развернула к нему планшет, не поздоровавшись: они прошли этот этап года два назад. — Вот март. Вот сейчас. Наклон видите.

— Вижу.

— Окна ясности пока длинные, сутки-двое. Дальше будут сжиматься. Эпизодическая пойдёт первой, она уже идёт — семантика держится дольше, навыки почти не тронуты, она прекрасно читает, считает, вяжет узлы. Тело у неё будет помнить всё. — Сано положила планшет. — Прогноз по ясности — четыре месяца. Может, шесть.

— У Мары было девять, — сказал он. — От такого же наклона.

— У Мары было девять, — согласилась Сано. — Дочь идёт быстрее. Мне жаль, Даниил.

Она никогда не говорила «мне жаль» дважды за разговор — берегла, как квоту. Он кивнул. Большой палец сам собой прошёлся по краю стола, стирая несуществующую пыль.

— Что можно сделать?

— В этом куполе? Ничего. Нейроблок демонтировали за тридцать лет до вас, оборудование ушло на фильтры. В соседних — то же самое, я запрашивала по «Меридиану», у «Аркады» есть томограф, но томограф — это глаза, не руки. — Сано сняла очки, потёрла переносицу, и на секунду стало видно, какая она старая. — То, что у Ады, чинили до катаклизмов. Если верить архивам — чинили за час, амбулаторно. Так что рецепт у меня один, и вы его знаете: чудо старого мира. Найдите мне работающую нейроклинику двухсотлетней давности, и я верну вам дочь.

Она сказала это горько, как говорят заведомую невозможность.

За стеной рамка закончила проход и пискнула. Слышно было, как Ада спрыгнула со стола — обеими ногами сразу, со стуком, как всегда.

— Она знает наклон? — спросил Вольф.

— Она умножает лучше меня, — сказала Сано. — Она знает всё, что можно вычислить.

Дверь открылась, и Ада вошла сама — она всегда входила сама, стучать в медблоке считала лишним. Забралась на стул рядом с отцом, деловито закатала рукав и предъявила Сано предплечье.

— Вычеркните вторник, — распорядилась она. — Медблок был сегодня, значит, вторник уже не нужен. Я не люблю лишние записи. Лишние записи путают.

Сано взяла её руку и аккуратно, ваткой с дезинфектантом, провела по строчке «ВТ: МЕД-БЛОК» — чернила поплыли и сошли, оставив розовую полосу чистой кожи. Остальных строчек она не тронула, хотя, как знал Вольф, ей давно хотелось стереть их все и выдать девочке нормальный планшет. Планшет Ада отвергла в первый же день, с формулировкой, которую Сано потом цитировала: «Планшет можно потерять. Руку — посмотрим».

Клеть шла вниз восемь минут, и все восемь минут делалось холоднее — сначала как в нежилом отсеке, потом как снаружи, потом как нигде.

Он любил этот спуск, хотя никому в том не признавался: шахта была книгой, которую он читал девять лет, страница за страницей, сверху вниз. За решёткой клетки плыли слои. Щебень и шлак старого мира, ржавые кости его машин. Ниже — века немоты: стерильный намыв, серый и ровный, где не было ничего, потому что некому было ничего оставить. Ещё ниже начиналось честное время — угли, кремьень, кость, охра, всё, что положено. А между немотой и честным временем, на минус тридцать восьмом, клеть проходила мимо золы: тонкой, в палец, сплошной чёрной прослойки, и Вольф каждый раз касался её взглядом, как трогают перила. Двенадцать тысяч лет назад по всей земле разом что-то отгорело. Он находил эту золу во всех шурфах, на всех отметках — ровную, как линия отреза. Ниже золы мир был. Выше — долго, очень долго — мира не было. Между ними лежал один тонкий чёрный час, и никто из тех, кого Вольф умел читать, не оставил о нём ни слова.

Минус сорок первый метр встречал инеем на решётке и особенной тишиной: наверху купол гудел, дышал, капал, а здесь звук кончался, как обрезанный. Мерзлота не была мёртвой — она была терпеливой. Вольф за девять лет научился различать.

Смена ушла час назад. Он остался — так он делал всегда в последние недели, дожигая личную квоту на прогрев: два часа наедине с забоем стоили ему трёх ужинов, и это была честная цена.

Горизонт-шесть открывался в конце штрека. Слой позднего дриаса Вольф знал наизусть, на ощупь, как страницу: прослойка золы — тонкая, сплошная, будто по всей земле разом что-то отгорело; выше — стерильный намыв, пустой, немой, века без человека; ниже — кость, кремьень, охра, всё честное, всё как положено. А посреди этой честной страницы, поперёк всех правил, стояла стена.

Он положил на неё ладонь — уже без перчатки, уже зная, что можно.

Стена была тёплой.

Не тёплой, как бывает от прогрева, — прогрев он отключил ещё вчера, экономя, и мерзлота вокруг успела снова затянуть всё инеем. Стена была тёплой сама, изнутри, ровно на два градуса выше нуля, и иней вдоль неё таял узкой полосой, так что она стояла в собственной чёрной кайме, как строка в тексте, которую кто-то выделил. Металл — если это был металл — не имел швов. Фонарь вяз в нём: луч не отражался и не поглощался, а как-то оседал, и от этого поверхность казалась глубокой, как вода ночью.

Сейсмика давала за стеной пустоты. Большие. Правильные.

«Склад», — сказал он Маршу. Слово было меньше того, что он чувствовал, стоя здесь, но других слов совет бы не взял.

Вчера скреперный нож зацепил край ниши в двадцати шагах от основной стены, и сегодня всю смену её расчищали. Теперь Вольф подошёл к ней один, с фонарём и кистью, как ходил когда-то на первые свои раскопы, где самым страшным был обвал.

Ниша была слишком правильной. Полтора метра высотой, метр глубиной, с полукруглым сводом — не выбитая, не выплавленная: оставленная, как оставляют паз под деталь. И деталь была на месте.

Тело сидело в нише, сложив руки на коленях, и всё оно — плечи, колени, склонённая голова — было залито кальцитом: натёк за тысячелетия одел его в мутную, слоистую, желтовато-белую корку, сгладил, оплавил, превратил в собственное надгробие. Так в старых книгах рисовали святых в раках: человек, ставший свечой.

Пропорции были человеческие. Почти. Кисти рук — чуть длиннее, чем надо. И левая кисть отличалась от правой — грубее, проще, как будто из другого набора.

Вольф присел на корточки. Дыхание выходило паром и оседало на корке инеем — тёплой корка не была, тепло держала только стена. Он поднял руку и большим пальцем, как делал это тысячи раз с черепками, костью, пряжками, стал счищать кальцит с лица.

Корка поддавалась, как старый воск. Под ней проступал не череп — гладкий серый материал без пор, скула, надбровье, сомкнутое веко. Лицо было спокойное и очень простое, проще человеческого, словно кто-то взял человеческое лицо и убрал из него всё лишнее.

Он работал, наверное, полчаса. Расчистил лоб, глазницы, переносицу. Иней от его дыхания ложился на серое и не таял.

Потом он опустил руку, чтобы размять пальцы.

И под кальцитом, медленно, как во сне, дрогнуло веко.

Часть вторая. Ключ и замок

Ночью он активировался сам.

Камера лаборатории — бывшего ремонтного ангара, куда тело подняли в грузовой клети, отмыв от калыцита щелочью и паром, — записала всё: в три часа двенадцать минут сомкнутые веки открылись, и в глазах, одном за другим, с тихим шелестом провернулась фокусировка. Четверть часа он лежал неподвижно, только глаза ходили по потолку, по стеллажам, по спящему у двери дежурному. Потом сел. Взял со стола инструменты Бекеле — не роясь, сразу нужные — и сорок минут чинил себе левую кисть: вскрыл, что-то заменил, закрыл. Инструменты сложил обратно, каждый на своё место, ручками в одну сторону.

Дежурный проснулся оттого, что на него смотрели.

К приходу Вольфа в ангаре было уже человек десять, и все стояли полукругом, на расстоянии, которое каждый выбрал себе сам. Тело сидело на краю стола очень прямо, положив на колени руки — правую и ту, другую, грубую, — и разглядывало людей по очереди, задерживаясь на каждом ровно настолько, чтобы человеку захотелось отойти за чужую спину.

— Он не отвечает, — сказал дежурный. — Мы пробовали. Он смотрит на рот.

— Разумеется, на рот, — сказала Ирма. Она сидела ближе всех, на табурете, с лупой, и разбирала маркировку на сером плече: тонкая гравировка, полустёртая, ушедшая вглубь материала. — Он учится. Помолчите-ка все, вы портите ему выборку... Так. Вот это читается. Лямбда. Дальше идеограмма, дальше то, что я приняла бы за «и-эр», если бы верила в совпадения.

— И что выходит?

— Выходит «Лир», мальчик мой. — Ирма опустила лупу и посмотрела на серое лицо почти с нежностью. — Король, который всё потерял и ходил по пустоши. Подходящее имя. Побудешь Лиром?

Тело перевело взгляд на неё. Впервые за утро в неподвижном лице что-то произошло — с опозданием, секунды на две, как эхо в длинном штреке: едва заметно поднялись углы губ. Улыбка пришла, когда её уже никто не ждал, и оттого вышла страшноватой.

А потом он заговорил.

Первые слова были не для них — текучие, длинные, со слогами, которые человеческое горло взяло бы разве что нараспев. Ирма подалась вперёд всем телом. Вольф видел, как шевелятся её губы: она пробовала звуки за ним, беззвучно, и лицо у неё делалось всё более растерянным.

— Не знаю, — сказала она тихо. — Даниил, я не знаю этого языка. Я знаю сорок мёртвых языков и ещё двести узнаю в лицо. Этот — не из нашей семьи. Вообще не из нашей.

Голос смолк. Голова повернулась — плавно, без рывка, — и он произнёс, уже на их языке, чисто, с лёгким стародавним порядком слов, выученным за одно утро из их перебранки:

— Ваш язык молодой. Назовите дату.

Полукруг молчал. Потом дежурный, сглотнув, сказал:

— Сто девятый год Купола. Осень.

— Ваши даты ничего не значат, — сказал Лир. В его речи не было вопросительных интонаций — даже там, где по всем правилам полагался вопрос, фраза ложилась ровно, как плита. — Спросите меня иначе.

— Кто ты? — сказал Вольф.

Взгляд с шелестом перестроил фокус — теперь Лир смотрел ему в лицо, и Вольфу стоило усилия не отступить на полшага, в чужие спины.

— Ты спрашиваешь, кто я, — сказал Лир. — Точнее спросить, сколько меня было.

К стене его свели на третий день — в грузовой клетки, под конвоем из двух добровольцев с монтировками, которых он вежливо не замечал.

Внизу уже развернулся Бекеле со своей резонансной съёмкой: тренога, излучатель, моток кабеля и наушник в одном ухе — второе ухо Тео всегда держал свободным, для купола. Аппаратуру он трогал так, как другие не трогают и детей.

— Тише, тише, родная, — бормотал он излучателю, выводя мощность. — Вот так. Дыши... Даниил Маркович, идёт картинка. Смотрите.

На экране проступало то, что лежало за стеной, — серыми сгустками, слоями, как разрез плода. Полости. Галереи. Ровный ритм переборок. И глубже, в центре, — плотное ядро с расходящимися тяжами, от которого экран рябил.

— Вот эта сигнатура — энергоконтур, — Бекеле вёл пальцем, не касаясь экрана. — Живой. Не остаточный фон — живой, под нагрузкой, что-то там до сих пор р-работает. Вот это — вода, много, тонн двести. А вот это... — палец остановился. — Библиотека сигнатур даёт «медицинский комплекс, аналог». Восемьдесят два процента совпадения. Стазис-поля, как в архивных описаниях клиник старого мира. Только старше. Много старше.

Медицинский. Вольф смотрел на серый сгусток в глубине экрана и слышал собственную кровь.

— Не радуйся, — сказала Ирма.

Она стояла у самой стены, у расчищенного за эти дни участка, где из-под грязи и кальцитного натёка вышла гравировка — пояс знаков в метр высотой, обтекающий, судя по зачисткам, весь периметр. Ирма работала по нему третьи сутки, спала здесь же, на раскладушке у теплового контура, и сейчас, не оборачиваясь, водила пальцами в митенках по глубоким, в фалангу, знакам.

— Это не склад, — сказала она. — И знаешь, почему я это знаю? Потому что во всём поясе нет ни одного знака объекта. Ни «зерна», ни «воды», ни «лекарства» — ничего, что кладут на склады и пишут на складах. Тут вообще нет существительных, мальчик мой. Одни глаголы. Одна формула, повторённая... — она глянула вдоль стены, — я думаю, несколько тысяч раз. По всему периметру. Как заклинание. Или как крик.

— Прочла?

— Почти. — Ирма сняла «очки для мира». Без них лицо у неё сделалось голым. — Глагольный корень я взяла: он же встречается на портале ниши, где сидел наш король. Это «нести». Не «открывать», заметить. Не «входить». Их не волновало, войдём ли мы. Их волновало, что мы вынесем... Полная формула — отрицание, глагол, усилитель дистанции. Если по-человечески...

Она приложила ладонь к стене, к тёплому, и сказала — тихо, как читают чужие письма:

— «Не нести дальше».

Стена под её ладонью была всё так же ровно тепла, и в чёрной кайме растаявшего инея стояла вода.

— Шлюз, — сказала Ирма. — Вот что это, Даниил. Не дверь склада — шлюз. А шлюзы, как тебе известно, ставят между средами, которые нельзя смешивать... Я уже переводила правильно. Один раз в жизни. Девять могил, мальчик мой, и я тебе как-нибудь расскажу, какая я была тогда молодая и как мне хлопали. — Она надела очки. — Это надо запечатать. Задокументировать, заглушить шахту и запечатать.

— Там медицинский комплекс, Ирма.

— Там знак «не нести дальше», повторённый пять тысяч раз.

Они стояли друг против друга, между ними дышал паром тепловой контур, а сзади, у клетки, молчал Лир. Он молчал всю дорогу вниз и всё это время — стоял, чуть склонив голову, и смотрел на пояс знаков так, как не смотрел ни на что наверху.

Ирма обернулась к нему первой. Что-то она уже поняла — видно было по тому, как медленно она сняла одни очки и надела другие.

— Ты читаешь это, — сказала она. Не спросила: переняла его манеру, нарочно. Потом всё-таки спросила, прямо, в лоб, по-детски: — Кто это писал?

Лир перевёл на неё взгляд.

— Я, — сказал он.

Аду он нашёл в ангаре — в четвёртом часу, обойдя перед этим жилой ярус, медблок и оранжерею, с сухим ртом и заготовленными словами, которые все оказались не нужны.

Она сидела на табурете Ирмы, напротив Лира, — маленькая, в накинута не по росту куртке, с жёлтой коробкой на шнурке поверх куртки, — и между ними, на столе, лежал разломленный надвое пищевой брикет. Одна половина была надкушена. Вторая лежала у серой руки, нетронутая.

Вольф остановился в дверном проёме — как утром, как всегда, — и не вошёл.

— ...а в камне было темно? — спрашивала Ада.

— Темнота — это свойство смотрящего, — сказал Лир. — В камне не было меня. Было тело и часы. Часы шли.

— Я так сплю, — сказала Ада, подумав. — Некоторые дни у меня как твой камень. Утром смотрю на плёнку — а там день, которого у меня не было. Он был у другой Ады, а мне остались часы. — Она поболтала ногами. — Это называется мыло. Я так назвала, потому что похоже: держишь-держишь, а оно выскальзывает. И чем сильнее сжимаешь, тем быстрее.

Лир молчал. Пауза стояла долгая, не человеческая, и Ада её не заполняла — умела ждать, научилась у своих плёнок.

— У тебя ломается запись, — сказал он наконец. — Не хранение. То, что записано, лежит целым. Ломается рука, которая пишет. — Он чуть повернул голову. — Тебя чинят с той стороны, где не сломано.

Ада замерла. Потом медленно, не сводя с него глаз, подняла с груди жёлтую коробку, нажала клавишу, и красный глазок засветился.

— Скажи ещё раз, — попросила она. — Это очень важно, а у меня может быть мыло.

И Лир — Вольф увидел это из дверей и запомнил на всю оставшуюся ему память — наклонился к треснувшему динамику, чтобы старой плёнке было лучше слышно, и повторил, слово в слово, с той же ровной интонацией, терпеливо, как повторяют детям.

— Ты улыбаешься с опозданием, — сказала Ада, выключив запись. — У тебя между лицом и словами — зазор. Две секунды примерно. Я замеряла.

— Лицо не моё, — сказал Лир. — Его делали позже и хуже.

— А руку?

— Ещё позже. И ещё хуже.

— Меня тоже, наверное, делали в спешке, — утешила его Ада.

Вольф шагнул через порог. Скрипнула плита пола, Ада обернулась — без испуга, с досадой пойманного за важным делом человека, — а Лир даже не повернул головы. Он сказал, глядя по-прежнему на девочку:

— Она спрашивает правильно. Ты — нет.

— Уже поздно, — сказал Вольф Аде. — Идём.

Она сползла с табурета, натянула куртку как следует, полбрикета подвинула ближе к серой руке.

— Это тебе, — объяснила она. — Я знаю, что ты не ешь. Это на всякий случай. На всякий случай — это когда неизвестно какой.

В клетки, по дороге наверх, она стояла, прислонившись к нему, тёплая и лёгкая, и уже почти спала. Вольф смотрел поверх её макушки на уходящие вниз метры и думал про зазор в две секунды, про руку, которая пишет, и про то, что машина, пролежавшая в камне двенадцать тысяч лет, за три дня узнала о болезни его дочери больше, чем купольная медицина за пять лет.

«Тебя чинят с той стороны, где не сломано».

Значит, есть сторона, где сломано. Значит, кто-то знает, какая.

Сано перехватила его перед залом совета — вышла из бокового прохода так, будто ждала, и, наверное, ждала.

— Две минуты, — сказала она. — Вчерашнее окно было девять часов. Не суток — часов, Даниил. Потом провал до утра. Она этого не заметила: провал пришёлся на сон, плёнка прикрыла. Я заметила. — Сано говорила быстро, глядя ему в грудь. — Наклон стал круче. Я снижаю свой прогноз. Не месяцы. Недели. Сколько — не скажу, я вам не оракул... Идите, вас ждут. Я слышала, что вы там нашли. Весь купол слышал.

В зале в этот раз мест не хватило: стояли вдоль стеклянных стен, дышали, и конденсат полз по своду быстрее обычного. На столе из шести дверей лежали распечатки Бекеле — серые сгустки, галереи, ядро, — и лист Ирмы с одной строкой перевода, крупно, от руки.

Говорили третий час.

— ...я не лингвист, — говорил Марш. Он стоял, опершись кулаками о стол, и латунный вентиль свисал с цепочки и покачивался над распечатками, как отвес. — Я не могу оценить красоту формулы «не нести дальше». Я могу оценить вот это. — Палец лёг на серый сгусток энергоконтура. — Живая энергия. Двести тонн воды. Медицинский комплекс. У меня наверху три тысячи сто человек и четырнадцать месяцев ресурса, доктор Кёниг. Четырнадцать. Дальше — знаете что? Я знаю. Я это уже проходил.

— Старейшина...

— Я из «Гаммы», — сказал Марш залу, хотя зал это знал. — Я был распорядителем воздуха купола «Гамма», и когда пошли фильтры, я сорок дней решал, какие секции дышат, а какие подождут. Потом мы выводили караван. Я вывел двести человек из трёх тысяч, доктор Кёниг, и я помню... — он осёкся на пол-удара, — я помню, чем пахнет купол, который сдался. Ничем он не пахнет. Совсем ничем... Так вот: под нами лежит то, что строили существа, у которых было всё. Вода, энергия, медицина. И один старый механизм говорит нам «не трогайте», и одна старая надпись говорит «не носите». А я говорю: мы двести лет живём на дне ямы, дышим по счёту и хороним города. Мы дожили. Мы доползли. Мы это заслужили.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.